

Эдвард Бульвер-Литтон

# Восход и закат



Эдвард Бульвер-Литтон

**Восход и закат**

«Public Domain»

1841

## Бульвер-Литтон Э. Д.

Восход и закат / Э. Д. Бульвер-Литтон — «Public Domain», 1841

«В октябрьский день, после обеда, в одной деревушке валлийского графства, на постоялом дворе, остановился какой-то приезжий, который тотчас же послал просить к себе местного vikar'я, мистера Калеба Прайса. Викарий явился и узнал в приезжем старого своего университетского товарища, с которым, впрочем, у него не было ничего общего, кроме латинских учебников и воспоминаний школьной жизни, потому что приезжий, сэр Филипп Бофор, был дворянин и богач, а он, мистер Кaleb Прайс, – бедняк без роду и племени, который по окончании университетского курса получил самое плохое место, какое только может получить человек без протекции, и с горем пополам поддерживал свое одинокое существование скудным доходом с деревенского прихода...» Книга также выходила под названием «День и ночь».

© Бульвер-Литтон Э. Д., 1841

© Public Domain, 1841

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Эдвард Бульвер-Литтон

## Восход и закат

### Часть первая

В октябрьский день, после обеда, в одной деревушке валлийского графства, на постоялом дворе, остановился какой-то приезжий, который тотчас же послал просить к себе местного викария, мистера Калеба Прайса. Викарий явился и узнал в приезжем старого своего университетского товарища, с которым, впрочем, у него не было ничего общего, кроме латинских учебников и воспоминаний школьной жизни, потому что приезжий, сэр Филипп Бофор, был дворянин и богач, а он, мистер Калеб Прайс, – бедняк без роду и племени, который по окончании университетского курса получил самое плохое место, какое только может получить человек без протекции, и с горем пополам поддерживал свое одинокое существование скудным доходом с деревенского прихода.

– У меня до вас дело, мистер Прайс, сказал приезжий после взаимных приветствий: я хочу жениться, и вы должны обвенчать меня.

– Гм! возразил викарий с важностью: женитьба дело серьезное, и для вашего венчания здесь место довольно странное!

– Согласен. Но и вы должны будете согласиться, когда выслушаете меня. Вы знаете, что дядя мой – полный властелин своего огромного имения. Если он узнает, что я женюсь против его согласия, он может рассердиться, лишит меня наследства и все отдать брату. А я между-тем непременно хочу жениться и притом совершенно против его желания, на дочери ремесленника, на девушке, какой не сыщете во всем свете. Мы обвенчаемся как-можно секретнее. Если это будет обделано здесь, в вашей маленькой церкви, то, конечно, этого никто не узнает.

– Да ведь вы не имеете позволения жениться?

– Нет; моя невеста тоже еще не совершеннолетняя, и мы даже от её отца скрываем наш брак. Здесь, в деревенской церкви, вы можете потише пробормотать окличку, так, что никто из ваших прихожан не обратит внимания на имена. Я для этого останусь здесь на месяц. Потом приедет моя невеста, мы в тот же день обвенчаемся и дело кончено.

– Но, сэр Филипп, любезный друг и товарищ, подумайте, на что вы решаетесь!

– Я уже все обдумал и нахожу, что все будет прекрасно. Нам нужно двух свидетелей. Мой слуга будет одним, другого приискать предоставляю вам, только поищите такого, чтоб был глуп, туп и стар донельзя, – какого-нибудь допотопного, если можно.

– Но...

– Я ненавижу все *но*. Если б мне пришлось создавать язык, я ни за что не потерпел бы в нем такого негодного слова. Дело решено. У вас тут плохое место, мистер Калеб. В поместье моего дяди богатый приход; тамошний викарий, – он же и приходский учитель, – очень стар. Когда я получу наследство, это место будет ваше; мы будем соседями и тогда вы тоже поищите себе доброй хозяйки. Одному ведь жить скучно. расскажите-ка мне про ваше житье-бытье, с-тех-пор как мы расстались в университете.

\* \* \*

Месяц спустя, сэр Филипп Бофор и мисс Катерина Мортон были обвенчаны и уехали. Один из свидетелей, слуга сэра Филиппа, получил пять сот фунтов стерлингов награды

и отправился в Ост-Индию, наживать больше. Другой, старый и совершенно глухой церковный сторож, вскоре умер.

Три года спустя, сэр Филипп писал к мистер Прайсу, что может наконец исполнить свое обещание и доставить ему хорошее, доходное место, но еще не у себя, а у одного из своих приятелей. О себе он говорил только то, что совершенно счастлив и без большого нетерпения ждет наследства, да между прочим просил доставить, на случай надобности, свидетельство о браке.

Это письмо застало мистера Прайса на смертном одре. Предложение места, конечно, не могло быть принято. Свидетельство, по просьбе больного, выправил и отослал по адресу мистер Джонс, викарий соседнего прихода, по временам навещавший товарища. Когда делали выписку, церковная книга была принесена на квартиру викария и там осталась. По смерти мистера Калеба Прайса место его около полугодю оставалось не занятым и в опустевшем, бедном жилище его деревенские ребятишки играли в прятки и, разумеется, растормошили и разбросали весь старый хлам, которого некому было получать в наследство. Между прочим, шалуны нашли церковную книгу и, смотря на неё со стороны чисто материальной, употребили на выделку бумажных змеев.

\* \* \*

– Отчего это папенька так долго не едет?

– Милый Филипп, его задержали дела, но он скоро будет здесь... может-быть, сегодня же.

– Мне хочется, чтобы он поскорее увидел мои успехи.

– Какие же это успехи, Филипп? спросила мать с улыбкой: уж верно, не в латыни: я ни разу не видела тебя за книгой, с-тех-пор как ты принудил меня отказать бедному Тодду.

– Бедный! что за бедный? Он, просто, глуп как столб и гнусит так скверно: где ж ему знать по латыни!

– Я думаю, что ты едва-ли когда-нибудь будешь знать столько, сколько он знает, если отец не согласится послать тебя в училище.

– Что ж, я охотно поеду в Итон. Папенька говорит, что это единственная школа, которую можно посещать джентльмену.

– Филипп, ты очень горд!

– Горд? Ты часто называешь меня гордым, маменька, а потом всё-таки целуешь. Поцелуй же и теперь.

Дама привлекла сына к себе на грудь, расправила пышные, темные его кудри и нежно поцеловала сына в лоб, но взор её отуманился грустью и, она, не замечая, что ее слушают, проговорила со вздохом:

– Не дай Бог, чтобы моя уступчивость и преданность отцу повредила когда-нибудь детям.

Мальчик нахмурился, но ничего не сказал. В это время вбежал другой мальчик, и взор матери, обратившись к меньшому сыну, опять прояснился.

– Маменька, маменька! вот письмо к тебе! Я взял его у Джона.

Дама вскрикнула от радости и схватила письмо. Между-тем как она читала, младший сын присел у её ног и смотрел в глаза матери, а старший стоял в стороне опершись на свое ружье. Лицо его было задумчиво, даже мрачно.

Эти мальчики составляли резкую противоположность друг с другом. Большому было лет пятнадцать, но он казался гораздо старше не только по росту, но и по повелительному, гордому выражению смуглого лица, осененного густыми, черными как смоль кудрями. Изящный темно-зеленый охотничий наряд, живописно надетая фуражка с золотой кистью, и ружье, показывая наклонность к опасной забаве, придавали ему еще более мужественного характера. Меньшой был по девятому году; его мягкие русые кудри, нежный, но здоровый румянец полных щек,

большие, голубые глаза, подвижные и почти женские черты составляли живой идеал истинно детской красоты. Во всех частях его наряда, от изящно вышитого воротничка до красивых сапожков, заметна была мелочная, взысканная заботливость матери, которой любимое дитя служит игрушкой для препровождения времени. Оба мальчика имели вид существ, которых судьба бережно выводит на поприще жизни, окруженных и избалованных всеми выгодами богатства и знатности, как будто на земле нет терний для их ног, и под небесами нет ветру, который бы мог слишком сурово коснуться их молодых щек. Мать их некогда была красавицей, я хотя уже утратила первый цвет юности, однако ж еще обладала прелестями, способными зажечь новую любовь, – что, конечно, легче, чем поддержать старую. Оба мальчика, не похоронившие друг на друга, имели сходство с матерью: у неё были все черты младшего и, вероятно, каждый, кто видел ее в девушках, узнал бы в этом мальчик живое подобие матери. Теперь, однако ж, – особенно в молчании или задумчивости, – она имела выражение старшего: некогда румяные и полные щеки были бледны; особенный изгиб линий рта и высокий лоб были запечатлены некоторою горделивостью и важностью, приобретенными опытом и годами. Кто мог бы наблюдать за ней в часы уединения, тот заметил бы, что эта гордость была не чужда стыда и что задумчивая важность была тень страстей, опасений и скорби.

Но теперь, когда она читала столь знакомый и милый почерк, читала глазами, в которых светилось её сердце, на лице выражались только радость и торжество; глаза сияли, грудь быстро воздымалась; она в восхищении несколько раз поцеловала письмо. Потом, встретив вопросительный, важный взгляд старшего сына, она обвила руками его шею и заплакала.

– Что такое, маменька, милая маменька? поспешно спросил младший сын, теснясь между матерью и братом.

– Твой отец приедет, сегодня... сейчас... и ты... ты... дитя мое... Филипп!..

Рыдания заглушили её речь. Письмо, которое произвело такое впечатление, было следующего содержания:

*«Милая Катя, последнее письмо мое уже приготовило тебя к известию, которое я теперь сообщаю. Моего бедного дядя не стало. Хотя я в последние годы мало виделся с ним, однако ж смерть его поразила меня довольно сильно. Впрочем, утешаюсь тем, что теперь по крайней мере ничто мне не мешает отдать тебе полную справедливость. Я единственный наследник огромного имения. Я могу теперь предложить тебе, дорогая моя Катя, хотя позднее, однако же полное вознаграждение за все, что ты претерпела за меня, – святое свидетельство в твоём ангельском терпении, постоянстве, безукоризненной любви и преданности. Я могу отдать нашим детям принадлежащие им права. Поцелуй их. Катя! поцелуй их от меня тысячу раз. Я пишу второпях. Похороны только-что кончены, и пишу только для того, чтобы уведомить тебя о моем приезде. Я буду уже близко, когда твои глаза будут пробегать по этим строчкам... твои милые глаза, которые, несмотря на все слезы, пролитые из-за моих глупостей, никогда не утрачивали выражения доброты и любви.*

*Твой как и всегда, Филипп Бофор».*

Филипп Бофор был человек, каких много в его кругу, – добрый, великодушный, легкомысленный и беспечный, с несравненно лучшими чувствами нежели правилами. От отца Филипп имел очень небольшое наследство, которого три четверти были уже в руках жидов и ростовщиков, прежде нежели он дожил до двадцати пяти лет, но он ожидал большего богатства и получал покуда очень хорошее содержание от дяди, старого холостяка, который из придворного куртизана сделался мизантропом, холодным, хитрым, проницательным, злым и властолюбивым. Этот дядя знал, что Филипп увез дочь ремесленника и жил с ней в своем имении,

где, как любитель охоты, проводил большую часть года. Старик за это не сердился на племянника; он даже был очень доволен, когда увидел, что, под влиянием своей подруги, молодой человек бросил игру, мотовство, все модные пороки своего возраста и своего общества и из разгульного повесы сделался человеком солидным, степенным. Но жениться на бедной мещанке старик ни за что бы ему не позволил и потому законность их союза осталась для него тайною, как была и для всех в обществе. «Если, говаривал он, мрачно взглядывая на Филиппа, если джентльмен вздумает опозорить своих предков введением в семью такой жены, которую родная сестра его не может не краснея принять у себя в доме, то пуст он лучше сам сойдет в её класс. Если б у меня был сын, который бы решился вступить в такой брак, я скорее отдал бы имение своему лакею, чем ему. Ты понимаешь меня, Филипп?»

Филипп понимал очень хорошо. Он любил жену, любил страстно, но отказаться от имения не мог и не хотел. Катерина, из любви к нему и к детям, переносила стыд, страдала тайно, но терпеливо ждала и надеялась на лучшую пору. В последнее время однако ж эти надежды стали несколько сомнительными. Катерину тревожило беспокойство и опасение за будущность детей, потому что богатство, из-за которого она и дети тоже столько лет носили перед лицом общества постыдное имя, это богатство могло достаться другому. Меньшой брат Филиппа, Роберт Бофор, совершенная противоположность его, человек пронырливый, честолюбивый, с улыбкой на лице и со льдом в сердце, был в последнее время неотходно около дяди, и, казалось, успел вкратце к нему в доверенность и приобрести его благосклонность. Но когда старик опасно захворал, Филипп был призван к его одру. Роберт был тут же. За час до смерти, старик оборотился в постели и, взглянув на того и на другого племянника, сказал:

– Филипп, ты повеса, но джентльмен, а ты, Роберт, осторожный, трезвый, очень порядочный человек. Жаль, что ты не купец: ты нажил бы себе состояние. Наследства ты не получишь, хотя и ожидаешь... я вижу тебя насквозь! Филипп, берегись брата. Теперь пошлите мне священника.

Старик умер; духовную вскрыли, и Филипп получил в наследство двадцать тысяч фунтов стерлингов годового дохода, а Роберт – бриллиантовый перстень, золотые часы с репетицией, пять тысяч фунтов деньгами и редкую коллекцию змей в спиртовых склянках.

\* \* \*

– Вот, Роберт, вот мои новые конюшни! Клянусь Юпитером, лучше их не найдешь во всех трех соединенных королевствах.

– Да, великолепное здание. А это ваш дом?

– Да; не правда ли, хорош? Это уж построено по распоряжению Кати. её вкусу и уменью я обязан всеми удобствами и всем изяществом этого дому. Милая Катя! Ах, братец, вы не знаете, какая это чудесная женщина!

Разговор этот происходил между двумя братьями Бофор, в бричке, которая в это время подъезжала к Филипповой даче Фернсид-Коттедж. С ними сидел семнадцатилетний сын Роберта, Артур Бофор.

– Чьи это мальчики, дядюшка, там, на лугу?

– Это мои дети, Артур.

– А! я не знал, что вы женаты, дядюшка! сказал Артур и высунулся из экипажа, чтобы лучше рассмотреть мальчиков, которые спешила встретить отца.

Роберт горько улыбнулся при замечании сына; Филипп вспыхнул. Карета остановилась; Филипп выскочил и через минуту был уже в объятиях Катерины. Дети ухватились за его руки и меньшей в нетерпении почти кричал: – Папенька, папенька, ты не видишь своего Сиднея?

Роберт Бофор положил руку на плечо сына и остановился в отдалении.



– Артур, сказал он глухим шепотом: эти дети – позор нашего семейства; это похитители твоего наследства; это незаконнорожденные!.. И они будут его наследниками!

Артур не отвечал, но улыбка, с которой он дотоле смотрел на своих родственников, исчезла.

– Катя, сказал сэр Филипп, взяв меньшего сына на руку и указывая на Роберта: это мой брат, и вот мой племянник. Ты им рада, не правда ли?

Роберт принужденно поклонился и пробормотал какую-то невнятную любезность. Общество отправилось в покои. Артур и молодой Филипп остались попади.

– Вы охотитесь? спросил Артур, увидев ружье у двоюродного брата.

– Как же! Нынешней осенью я надеюсь настрелять не меньше папеньки. А он лихой охотник. Только ружье-то это одноствольное... старомодная хлопушка. Папенька купит мне другое, новое. Я сам теперь не могу купить.

– Конечно, сказал Артур с улыбкой.

Филипп вспыхнул и перебил с живостью:

– О! нет, вы меня не поняли! я и сам купил бы себе ружье, если б не заплатил на-днях тридцать гиней за пару лягавых. Чудо-собаки! Ручаюсь, что вы не видывали подобных.

– Тридцать гиней? О-го! воскликнул Артур с простодушным изумлением: да сколько же вам лет?

– Ровно пятнадцать. Эй! Джон! Джон Грин! повелительно вскричал молодой человек проходившему мимо садовнику: смотри, чтобы завтра утром невод был приготовлен на тем берегу озера, да чтобы в девять часов была готова палатка. Поставить ее под липами, да хорошенько, не так, как в прошлый раз. Тебе всё двадцать раз надо толковать, пока ты поймешь.

– Слушаю-с, отвечал садовник с раболепным поклоном.

– Ваш папенька держит лошадей для охоты? спросил Филипп.

– Нет.

– Отчего же?

– Оттого что он не довольно богат для такой роскоши.

– Ах, как жаль! Но приезжайте только к нам, и мы вам дадим любого коня. У нас конюшня большая.

Артур вспыхнул и его от природы откровенное и скромное обращение, стало гордым и принужденным. Филипп выпучил на него глаза и обиделся, сам не зная за что. С этой минуты он возненавидел своего двоюродного брата.

После обеда сэр Филипп и Роберт Бофор сидела за столом и пили.

– Да, говорил Филипп, в этом отношении я, действительно, ждал дядюшкиной смерти. Вы видели Катерину, но вы не знаете и половины её добрых качеств. Она была бы украшением всякого звания и всякого общества.

– Я не сомневаюсь в достоинствах мистрисс Мортон и уважаю вашу привязанность к ней. Но... вам, братец, не должно бы забывать, что она под именем мистрисс Бофор так же мало будет принята в обществе, как и под именем мистрисс Нортон.

– Но я вам говорю, что я и теперь уже действительно обвенчан с ней. Она ни под каким другим видом не оставила бы своей родины. Мы венчались в самый день её побега.

– Любезный братец, возразил Роберт с насмешливой улыбкой неверия: вам, конечно, должно так говорить. Всякий на вашем месте поступил бы точно так же. Но я знаю, что дядюшка всячески старался узнать достоверно, справедлив ли был слух о вашем тайном браке.

– И вы, Роберт, помогали ему в этих розысках?... а?

Роберт покраснел.

– Ха, ха, ха! я знаю, что вы помогали! продолжал Филипп: вы знали, что такое открытие погубило бы меня во мнении старика. Но я провел вас обоих... ха, ха, ха! Мы обвенчались

так тайно, что теперь даже самой Катерине без моего согласия трудно было бы доказать наш брак. Пастор, который венчал нас, умер; из свидетелей один тоже умер, другой пропал без вести; даже церковная книга случайно уничтожена. Но у меня есть достоверный акт и я докажу законность нашего брака, я восстановлю чистоту имени моей бедной Катерины и вознагражу ее за все её самопожертвование.

– Ну, братец, мне не след противоречить вам. Однако ж всё-таки это странная история: пастор умер, свидетелей нет, церковной книги нет!.. Вы умно делаете, утверждая, что брак ваш уже существовал законным образом, когда хотите теперь гласно подтвердить его законность. Но... всё-таки... поверьте мне, Филипп... свет...

– Что мне до света! Мы вовсе не намерены ездить на балы и рауты и давать знатым людям обеды. Мы будем жить почти так же, как и до сих пор. Я только заведу себе яхту, да Филиппу найму лучших учителей. Филиппу хочется в Итон, но я знаю, что такое Итон. Бедный Филипп! Его, пожалуй, могут оскорбить, если люди там такие же скептики как и у вас, в вашем обществе. Старые моя друзья, я думаю, будут не меньше прежнего учтивы теперь, когда у меня двадцать тысяч фунтов дохода. Что же касается до общества дам, то, между нами будь сказано, я вовсе не желаю знать ни одной дамы, кроме моей Кати.

– Ну, вы лучший судья в своем деле. По крайней мере я надеюсь, вы не примете моих замечаний в худую сторону?

– Нет, любезный Роберт, нет. Я вполне чувствую вашу ласку и умею оценить ее. Довольно и того, что вы, человек такой аккуратный, таких строгих правил, приехали сюда, оказать моей Кате уважение (сэр Роберт беспокойно завертелся на креслах)... даже тогда, когда еще не знали, что она законная моя жена, и, право, я не осуждаю вас за то, что вы прежде никогда не делали этого, не осуждают за то, что вы старались приобрести любовь дядюшки.

Роберт еще беспокойнее начал переминаясь и откашливался, как будто хотел что сказать. Филипп, не обращая на него внимания, выпил стакан вина и продолжал:

– Ваши угождения старику, как видно, ни к чему не послужили. Но мы постараемся уладить дело так, чтобы никому не было обидно. Вы с женниного мнения получаете, кажется, две тысячи фунтов дохода?

– Полторы, Филипп, только полторы, а воспитание Артура стоит дорого. С будущего году он поступает в училище. Он, право, очень умный мальчик... подает большие надежды.

– Да, и я надеюсь. Он славный малый. Мой Филипп многому может научиться от него... Филипп мой отчаянный лентяй, но чертовски умен, остер как иголка! Посмотрели бы вы, как он сидит на коне... Но возвратимся к Артуру. О воспитании его не заботьтесь: это мое дело. Мы пошлем его в Крист-Чорч, а потом посадим в парламент. А вам, самим... Я продам лондонский дом и вырученные деньги отдаю вам. Сверх того вы получите от меня полторы тысячи фунтов годового дохода которые вместе с вашими полутора тысячами составят три. Это дело конченное. Молчите. Братья должны поступать по-братски. Пойдемте в сад, к вашим детям.

Они вышли.

– Вы так бледны, Роберт! Это у вас, столичных жителей, общая черта. Что касается до меня, я крепок как лошадь и чувствую себя гораздо здоровее чем тогда, когда принадлежал к числу ваших повес, которые целый день топчут лондонскую мостовую. Клянусь Юпитером! я ни разу не хворал, исключая нескольких ушибов, когда падал с лошади. Я так здоров, как будто про меня и смерти нет. Оттого я никогда и не думал делать завещания.

– Так вы не делали завещания?

– До сих пор нет. Да и не стоило делать! нечего было отказывать. Но теперь, получив такое имение, пора подумать о вдовстве моей Кати. Клянусь Юпитером! кстати вспомнил. Я завтра же поговорю с адвокатом. А теперь не хотите ли посмотреть мою конюшню? Чудо, какие лошади!

– Посмотрите, как рыжая Бетти растолстела, сэр, говорил конюх выводя лошадей: зато уж мистер Филипп и манежит ее, нечего сказать! Мистер Филипп скоро будет ездок не хуже вас, сэр.

– Так и надо, Том, так и надо. Он будет лучше меня ездить, потому что никогда, кажется, не потолстеет так как я. Оседлай же ему рыжую Бетти. Ну, а мне бы на какой поехать? А! вот мой старый приятель, Поппет!

– Не знаю, что сделалось с Поппетом, сэр! Не ест, как надобно, и становится упрямым. Вчера хотел пустить его через барьер... ни за что!

– Что ж ты мне не сказал, Том? вскричал молодой Филипп: я бы его уж заставил скакнуть через шесть барьеров, не только через один.

– Сохрани Бог, мистер Филипп! ведь я знаю, что вы горячи. А случилось бы что-нибудь, так тогда что?

– Правда, правда, мой друг, прибавил отец: Поппет не привык к другим седокам кроме меня. Оседлай его, Том. Ну, а вы, братец, поедете с нами?

– Нет, я с Артуром должен ехать сегодня в город. Я уже велел заложить.

– Ну, как хотите.

Сэр Филипп сел на своего любимого коня и несколько раз объехал двор рысью.

– Что ты, Том! видишь, как мой Поппет послушен? Отвори ворота: мы проскачем по аллее, я там через барьеры... а, Филипп?

– Едем, папенька.

Ворота отворили, конюхи стояли и с любопытством выжидали скачка. Роберт и Артур также остались. посмотреть. Всадники были прекрасны. Один – ловкий, легкий, пылкий, на стройной, ретивой лошади, но – видимому столько же горячий и гордой, как и юный всадник, под которым она извивалась змеей; другой – Геркулес, также на сильном, здоровом коне, которым управлял с ловкостью мастера во всяком атлетическом искусстве, изящный и благородный в посадке и во всех движениях, – настоящий кавалерист, настоящий рыцарь.

– Ах, как хорош дядюшка на коне! вскричал с невольным удивлением Артур.

– Да, здоров, удивительно здоров! возразил бледный отец с тайным вздохом.

– Филипп, сказал мистер Бофор, галопируй вдоль аллеи; я думаю, барьер слишком высок для тебя. Я пушу Поппета через него, а для тебя велим отворить.

– О! папенька, вы не знаете, как я нынче скачу!

И отдав поводья, прищпорив рыжую, молодой всадник поскакал вперед и махнул через довольно высокий барьер с такою легкостью, что у отца невольно вырвалось громкое «браво!»

– Ну, Поппет, теперь ты! сказал сэр Филипп, прищпоривая своего коня.

Конь доскакал до барьера, захрапел и поворотил назад.

– Фи! Поппет! фи! старый хрыч! воскликнул опытный наездник, перекинув коня опять к барьеру. Лошадь замотала головой, как будто хотела сделать возражение, но сильно всаженные в бока шпоры показали ей, что господину не угодно слушать никаких доводов. Поппет пустился вперед, скакнул, задел задними копытами за верхнюю перекладину барьера и рухнул. Седок через голову полетел на несколько шагов дальше. Конь тотчас встал; всадник не вставал. Молодой Бофор с беспокойством и страхом соскочил с лошади. Сэр Филипп не шевелился; кровь полилась ручьями из горла, когда голова его грузно упала на грудь сына. Конюхи видели падение издали, прибежали и взяли упавшего из слабых рук мальчика. Старший конюх осмотрел его глазами человека опытного в подобных случаях.

– Братец, где у вас ушиб, говорите? вскричал Роберт Бофор.

– Он уже ничего не скажет: он сломил шею! возразил Том, и залился слезами.

– Пошлите за доктором! продолжал Роберт: Артур, оставь! не садись на эту проклятую лошадь.

Но Артур не слушал. Он уже сидел на коне, который был причиною смерти своего господина.

– Где живет доктор?

– Прямо этой дорогой, в город... мили две будет... всякой знает дом мастера Повиса. Благослови вас Бог! сказал конюх.

– Поднимите его... бережно... и снесите домой, сказал сэр Роберт конюхам: бедный мой брат! дорогой мой брат!

Слова его были прерваны криком, – одним пронзительным, раздирающим криком, – и молодой Филипп без чувств упал на землю.

Никто теперь уже не беспокоился об нем, никто и не посмотрел на осиротевшего незаконнорожденного.

– Тише, тише, говорил сэр Роберт, провожая слуг, которые несли тело; потом бледные щеки его покраснели, и он прибавил: он не сделал завещания, он никогда не делал завещания!

Три дня спустя, в зале стоял открытый гроб, с телом сэра Филиппа. На полу, перед ним, лежала, без слез, без голоса, несчастная Катерина и подле неё Сидней, который был еще слишком молод, чтобы вполне понять свою потерю. Филипп стоял подле гроба, молча уставив неподвижные глаза на мертвое лицо, которое для него никогда не выражало ни гнева ни досады, которое всегда смотрело и него с любовью, а теперь было холодно, бесстрастно. Подле, в кабинете покойного, сидел сэр Роберт Бофор, законный его наследник, бледный, желтый, сгорбленный. Только глаза его сверкали и руки судорожно суетились, между бумагами разбросанными на старомодной конторке и в выдвинутых ящиках. Он был один. Сына он на другой же день после несчастного приключения послал в Лондон с письмом к жене, которую извещал счастливой перемене своих обстоятельств и просил с экстра-почтою прислать адвоката.

В дверях послышался стук; вошел адвокат.

– Сэр, гробовщик пришел; и мистер Гревс приказал звонить в колокола; в три часа он хочет отпевать...

– Я очень обязан вам, Блаквель, что вы приняли на себя эту печальную заботу. Бедный мой брат!.. Так неожиданно!.. Так вы думаете сегодня хоронить?

– Да, конечно: погода прекрасная, отвечал адвокат обтирая лоб.

Раздался звон. В кабинете молчали.

– Да, это был бы убийственный удар для мистрисс Мортон, если б она была его женой, заметил через несколько времени мистер Блаквель: но этого рода женщины, конечно, ничего не чувствуют. Счастье еще для вашего семейства, сэр, что это случилось прежде нежели сэр Филипп успел жениться на ней.

– Да, это большое счастье, Блаквель. Вы велели приготовить лошадей? Я тотчас же после похорон намерен ехать.

– А что делать с дачей?

– Продать, разумеется, продать.

– А мистрисс Мортон и её дети?

– Гм! мы подумаем об них. Она была дочь ремесленника. Я полагаю, надобно будет обеспечить ее прилично званию. А? как вы думаете?

– Да, конечно; больше и требовать от вас не могут. Этого слишком довольно. Ведь это не то, что жена: совсем другое дело.

– Конечно, совсем другое дело. Позвоните-ка, чтоб принесли свечу. Мы запечатаем эти ящики... Да я охотно съел бы котлетку... Бедный мой брат!

Погребение кончилось; запряженный экипаж стenal к подъезду. Сэр Роберт слегка поклонился вдове и сказал:

– Через несколько дней я вам напишу, мистрисс Мертон, и вы увидите, что я вас не забуду. Дом этот будет продан, но мы вас не торопим. Прощайте, мистрисс; прощайте, дети.

Он потрепал племянников по плечу. Филипп топнул ногой и взглянул на дядю мрачно и надменно.

– В этом мальчик проку не будет, пробормотал тот про себя.

– Утешьте чем-нибудь маменьку, дядюшка! сказал Сидней простодушно и с умоляющим видом половив свою руку в руку богача.

Сэр Роберт сухо крикнул и сел в братнину коляску. Адвокате сел рядом с ним, и коляска покатила.

Неделю спустя, Филипп пошел в оранжерею, набрать плодов для матери, которая по смерти мужа почти вовсе не дотрагивалась до пищи. Она исхудала как тень; волосы её поседел. Она, наконец, могла плакать; зато уж и не осушала глаз. Филипп, набив несколько кистей винограду, положил в корзинку и хотел взять еще абрикос, который казался ему поспелее других, как-вдруг кто-то с силою схватил его за руку и раздался грубый голос садовника Джона.

– Что ты тут делаешь? Не тронь!

– Ты с ума сошел, болван! вскричал молодой человек с гневом и негодованием.

– Полно, брат, куражиться, барин! я не хочу, завтра приедут господа, смотреть дачу, и я не хочу, чтобы оранжерея была обобрана вашей братией. Вот, что я хотел сказать, мистер Филипп.

Молодой человек побледнел, но молчал. Садовник был рад, что мог выместить прежние обиды, и продолжал:

– Что ты так презрительно смотришь, мистер Филипп? Ты вовсе не такой большой барин, как воображал. Что ты такое? Нечего. Так убирайся же подобра-поздорову: мне пора запирать двери.

С этим словом он грубо взял молодого человека за плечо, но вспыльчивый, раздражительный и властолюбивый Филипп был силен, не полетам, и бесстрашен как лев. Он схватил лейку и так ударил ей садовника в голову, что тот как сноп опрокинулся на парники и в дребезги расшиб рамы и стекла. Филипп спокойно снял спорный абрикос, положил к винограду, в корзинку, и пошел. Садовник не почел нужным преследовать его.

Для мальчика, который, в обыкновенных обстоятельствах, прошел свой путь через богатую побранками детскую, среди семейных раздоров, или побывал в большой школе, для такого мальчика это приключение ничего бы не значило и не оставило бы по себе ничего такого, что слишком потрясло бы нервы или встревожило бы душу по миновании первой вспышки. Но для Филиппа Бофора этот случай был эпохой в жизни. Это было первое нанесенное ему оскорбление; это было посвящение его на переменную, безрадостную и ужасную жизнь, на которую отныне было осуждено это избалованное дитя тщеславия и любви. Его самолюбие в первый раз было жестоко уязвлено. Он вошел в комнату и вдруг почувствовал себя нездоровым; колена его дрожали; он поставил корзинку на стол, закрыл лицо руками и заплакал. Эти слёзы были не детские, не те, которые так же скоро исчезают, как скоро являются: это были жгучие, тяжелые слезы гордого мужчины, мучительно выжатые из сердца вместе с кровью. Он, конечно, несмотря на все предосторожности, имел уже некоторое смутное понятие об особенностях своего положения, но до того это еще его не беспокоило, потому что он не испытывал никакой неприятности. Теперь он начал заглядывать в будущее и им овладело сомнение, неясное опасение; он вдруг понял, какой опоры, какой защиты лишился в отце, и содрогнулся... Послышался звонок. Филипп поднял голову. Это был почтальон с письмом. Филипп поспешно встал и, отворачивая лицо, на котором еще не обсохли слезы, принял письмо, потом взял корзинку с плодами и пошел в комнату матери.

Ставни были притворены. О, как насмешлива улыбка счастливого солнца, когда оно озаряет несчастных! Катерина сидела в отдаленном углу, бесчувственно, неподвижно устремив влажные глаза в пустоту; весь вид её представлял олицетворение безутешной скорби. Сидней сидел у ног её и плел венок из полевых цветов.

– Маменька! маменька! шептал Филипп, обвив руками её шею: взгляни же, взгляни на меня. Сердце мое разрывается, когда я вижу тебя в таком положении. Отведай этих плодов. Ты тоже умрешь, если будешь продолжать так... Что ж тогда станет с нами, с Сиднеем?

Катерина обратила на него неопределенный взор и пыталась улыбнуться.

– Вот письмо, маменька. Может-быть, добрые вести. Прикажешь распечатать?

Катерина взяла письмо. Какая разница между этим письмом и тем, которое, несколько дней тому назад, подал ей Сидней! Адресс был руки Роберта Бофора. Катерина содрогнулась и положила письмо. Вдруг, в первый раз, как молния промелькнуло в душе несчастной женщины сознание настоящего её положения и страх за будущее. Что будет с её детьми? что с ней самой? Как ни свят был её союз с помойным, а перед законом она едва-ли найдет право. От воли Роберта Бофора могла зависеть участь трех существ. Дыхание спиралось в её груди. Она взяла письмо и поспешно пробежала его. Вот оно.

*«Мистрисс Мортон! Так как бедный брат мой оставил вас, не сделав никакого распоряжения, то понятно, что вы должны быть озабочены будущностью ваших детей и вашей собственною. Поэтому я решился как-можно скорее, – как только позволяют приличия, – уведомить вас о моих намерениях насчет вас. Не нужно говорить, что, строго рассудив, вы не можете иметь ни каких притязаний, ни претензий на родственников покойного. Я не стану также оскорблять ваших чувств нравственными замечаниями, которые и без того, вероятно, представлялись вам самим. Не указывая более на ваши отношения к моему брату, я, однако ж, беру смелость заметить, что эти отношения были не малым поводом к отчуждению его от нашего семейства, и при совещании с нашими родственниками об обеспечении судьбы детей ваших я нашел, что, кроме некоторых уважительных сомнений, наши родные к вам чувствуют очень понятную и простительную неприязнь. Из уважения, однако ж к моему бедному брату (хотя я в последние годы очень редко виделся к ним), я готов подавить чувства, которые, как вы легко поймете, должен разделять с моим семейством. Вы теперь, вероятно, решитесь жить у своих родственников. Чтобы вы, однако ж, не были им в тягость, я назначаю вам ежегодно по сто фунтов, которые можете получать по третям, или как вам лучше. Вы можете также взять себе из серебряной посуды и белья, что понадобится, по прилагаемому при письме моем списку. Что же касается до ваших сыновей, то я готов отдать их в школу, а потом они могут выучиться какому-нибудь приличному ремеслу, которое вы лучше всего можете избрать им по совету ваших родственников. Если ваши дети поведут себя хорошо, то всегда могут надеяться на мое покровительство. Я не намерен торопить и гнать вас, но вероятно, вам самим будет прискорбно жить долее нежели сколько необходимо нужно на месте, с которым сопряжено для вас столько неприятного. И так как дом продается, то вам, конечно, неприятны будут посещения покупателей, да притом ваше продолжительное присутствие было бы даже помехою продаже. На первые издержки по случаю переездки посылаю ваш вексель во сто фунтов стерлингов и прошу уведомить, куда потом должно будет послать деньги за первую треть. Насчет отпуска слуг и прочих распоряжений по дому, я уже дал поручение мистеру Блаквелю, так, что вам не будет ни какого беспокойства.*

*Честь имею быть вашим, милостивая государыня, покорнейшим слугой  
Роберт Бофор»*

Письмо выпало из рук Катерины. Скорбь её превратилась в отвращение и негодование.

– Заносчивый негодяй! вскричала она с пламенеющим взглядом: это он смеет говорить мне... мне! жен, законной жене его брата! матери его родных племянников!

– Скажи это еще раз, маменька, еще раз! вскричал Филипп: ты жена, законная жена?

– Клянусь, это правда! отвечала Катерина торжественно: я скрывала эту тайну ради твоего отца. Теперь, ради вас, истина должна открыться.

– Слава Богу! слава Богу! шептал Филипп обнимая брата: на нашем имени нет пятна, Сидней!

При этих словах, произнесенных с радостью и гордостью, мать вдруг почувствовала все, что подозревал и таил про себя её сын. Она чувствовала, что под его вспыльчивым и упрямым нравом таилось нежное и великодушное снисхождение к ней. Даже недостатки Филиппа могли родиться от двусмысленного его положения. В сердце её проникло горькое раскаяние в том, что она, для выгод отца, так долго жертвовала детьми. Затем последовал страх, ужасный страх, мучительнее самого раскаяния. Где доказательства? Она знала, что есть свидетельство о браке, но где оно? Об этом она никогда не спрашивала мужа, а теперь спросить было поздно. Другой никто не знал. Она застонала и закрыла глаза, как будто для того, чтоб не видеть будущего. Потом она вдруг вскочила, бросилась из комнаты и побежала прямо в кабинет мужа. Положив руку на замок, она затрепетала и остановилась. Но забота о живых в эту минуту была сильнее скорби во умершем. Она вошла и твердыми шагами приблизилась к конторке. Конторка была заперта и запечатана печатью Роберта Бофора. На всех шкафах, на всех ящиках та же печать напоминала о правах более действительных. Но Катерину это не остановило. Она оборотилась, увидела Филиппа и молча указала на конторку. Мальчик понял ее и ушел. Через минуту они воротился с долотом и сломал замок. Торопливо, с трепетом, перерыла Катерина все бумаги, развертывала письмо за письмом, лист за листом. Тщетно! Ни свидетельства, ни завещания не было. Одного слова достаточно было, чтобы объяснить Филиппу, чего мать его искала, и он принялся обыскивать еще внимательнее, еще отчетливее. Все шкафы, все ящики, всякое место, где могли быть бумаги, в кабинете и во всем доме, было осмотрено и все напрасно.

Три часа спустя они были в той же комнате, где Филипп подал матери письмо. Катерина сидела молча, без слез, но бледная как смерть, от скорби и отчаяния.

– Маменька, позволишь теперь прочесть это письмо? спросил Филипп.

– Читай, и реши за всех нас, Филипп, отвечала мать.

Она молча смотрела на сына, покуда он читал. Филипп чувствовал этот взор и подавлял поднявшуюся в груди его бурю. Дочитав, он обратил черные, пылающие глаза свои на мать.

– Маменька, докажем ли мы свои права или нет, во всяком случае ты откажешься от милостыни этого человека. Я молод... я мальчик, но я здоров и силен. Я буду день и ночь работать для тебя. У меня станет силы на это... я это чувствую. Лучше перенести все возможные бедствия, чем есть его хлеб!

– Филипп!.. Филипп! ты истинно мой сын! ты сын Филиппа Бофора! И ты не упрекаешь свою мать, что она, по слабости, забыла свой долг, скрывала законность твоих прав до тех пор пока стало уже поздно доказывать их? О! упрекай меня, упрекай меня! мне будет легче. Нет, не целуй меня: я не вынесу этого! Дитя мое... Боже мой!.. если нам не удастся доказать!.. Понимаешь ли ты, что я тогда буду в глазах света и что будете вы оба?

– Да, я понимаю, сказал Филипп с твердостью, и стал на колени перед матерью: но пусть! пусть другие называют тебя, как хотят. Ты мать, а я твой сын. Ты перед Богом жена моего отца, а я его наследник.

Катерина склонила голову и рыдая упала в объятия сына. Сидней подошел и прижал уста свои к её холодной щеке.

– Маменька! маменька, не плач! говорил ребенок.

– О, Сидней! Сидней!.. как он похож на отца! Посмотри на него, Филипп! Смеем ли мы отказаться от предлагаемой милостыни? И ему тоже быть нищим?

– Никогда мы не будем нищими! Законные сыновья Бофора не на то созданы, чтоб вымаливать милостыню! возразил Филипп с гордостью, которая показывала, что он еще не прошел школы бедствия.

\* \* \*

Сэр Роберт Бофор в свете почитался человеком очень почтенным. Он никогда не играл, не делал долгов. Он был добрый муж, попечительный отец, приятный сосед, довольно благотворителен к бедным. Он был честен и порядочен во всех своих делах и об нем знали, что он в некоторых обстоятельствах жизни поступал даже очень благородно. Сэр Роберт вообще старался во всем поступать так, чтобы люди не осудили. Другого правила у него не было. Его религия – приличие; его честь – мнение света; сердце – солнечные часы, которых солнце – общество. Когда глаза публики были обращены на эти часы, они соответствовали всему, что только можно требовать от порядочного сердца; когда же глаза отворачивались, часы ничего не показывали и становились чугунною доской, и только. Справедливость требует заметить, что Роберт Бофор решительно не верил в законность союза своего брата. Он считал все это сказкой, придуманною Филиппом для того, чтобы подкрепить свое намерение более уважительными доводами. Признание Филиппа, что на этот брак не существует ни каких доказательств, кроме одного свидетельства, – которого Роберт не нашел, – делало это неверие очень естественным. Поэтому он и не считал себя обязанным уважать и щадить женщину, через которую чуть-чуть не лишился богатого наследства, женщину, которая даже на носила имени его брата, и которой никто не знал. Если б Катерина была миссис Бофор и её дети законные дети Филиппа, то Роберт, – предполагая даже, что взаимные отношения их касательно имения были бы те же самые, – поступил, бы с осмотрительным и добросовестным великодушием. Свет сказал бы: «Благороднее сора Роберта Бофора невозможно поступить». Если б мистрисс Мортон была хоть разведенная жена из какой-нибудь знатной или именитой фамилии и жила бы так же с Филиппом, сэр Роберт и тут распорядился бы иначе: он не допустил бы, чтоб родственники её могли сказать, «сэр Роберт Бофор мелочной человек.» Но при настоящем положении дел он видел, что мнение света, – если свет сочтет это дело достойным своего суда, – во всяком случае будет, на его стороне. Хитрая женщина... низкого происхождения и, разумеется, низкого воспитания... которая старалась обольстить и вовлечь своего богатого любовника в неразрывный союз... чего такая женщина могла ожидать от человека, которому хотела повредить... от законного наследника? Не довольно ли великодушно с его стороны, если он хоть что-нибудь сделает? если он заботится о детях и пристроит их сообразно с званием матери? Неужели этого не довольно? Его совесть говорила ему, что он исполнил долг, что он поступил не необдуманно, не безрассудно, но как должно. Он был уверен, что свет именно так решит, если узнает, в чем дело. Ведь он ни к чему не обязан! И потому он был вовсе не приготовлен к короткому, гордому, но умеренному ответу Катерины на его письмо, к ответу, которым она решительно отказывалась от его предложений, твердо настаивала на законности своих прав и предоставляла себе отыскивать их судебным порядком. Ответ этот был подписан: Катерина *Бофор*! Сэр Роберт надписал на этом письме «Дерзкий ответ мистрисс Мортон; 14 сентября,» положил в стол и был очень доволен, что имел право совершенно забыть о существовании той, которая написала это, пока ему не напомнил об ней адвокат его, мистер Блэквель, уведомив, что Катерина подала жалобу в суд. Сэр Роберт побледнел, но Блэквель успокоил его.

– Вам, сэр, опасаться решительно нечего. Это только попытка вынудить денег. Они ничего не сделают.



Дело, действительно, было даже больше нежели сомнительно. Они в самом деле ничего не сделали, и Катерина этим процессом только пуще опозорила перед глазами света и себя и детей. Сэр Роберт Бофор спокойно вступил в полное обладание богатым именем.

Между-тем Катерина с детьми поселилась в отдаленном предместьи Лондона, в мрачной и холодной наемной квартире. После несчастного процесса и по распродаже бриллиантов и золотых вещей, которых наследники не имели права отнять, у неё осталась сумма, которою она, при величайшей бережливости, могла жить года два порядочно. Между-тем она придумывала план для будущего и надеялась притом на помощь своих родственников, но всё-таки с трудом решалась просить этой помощи. Пока был жив отец, она вела с ним переписку, но никогда не открывала ему тайны своего брака, хотя писала не так, как женщина, чувствуящая за собою вину. Отец, человек не очень хороших правил, сначала посердился, но потом мало беспокоился о настоящих отношениях своей дочери к сэру Филиппу Бофору: он был доволен тем, что она жила безбедно и могла даже помогать ему; притом же он надеялся, что Бофор всё-таки со временем возведет Катерину в достоинство законной жены и леди. Но когда отец умер, связь Катерины с семейством была расторгнута. Брат её, Рожер Мортон, был человек порядочный, честный, но немножко грубый. В единственном письме, которое Катерина получила от него, с известием о смерти отца, он сухо высказал ей напрямки, что не может одобрить её образа жизни и что не намерен иметь никаких сношений с ней, если она не решится разойтись с Бофором. Если же она решится на это и чистосердечно раскается, то он всегда готов быть ей добрым и верным братом.

Хотя в то время это письмо очень оскорбило Катерину, однако ж, соображая причины, она не могла сердиться на брата, и теперь, угнетенная бедствием, решилась просить у него помощи по крайней мере для детей, но решилась уже через год по смерти мужа, когда большая часть её имущества была прожита и другого средства не предвиделось, а она сама, изнуренная печалью и болезнью, уже чувствовала, что ей не долго остается жить. С шестнадцатого году своего, когда вступила хозяйкою в дом Бофора, она жила не роскошно, но в довольстве, посреди которого не привыкла даже к бережливости, не только к лишениям. При всем том, по своему характеру, она сама перенесла бы голод и всякую нужду безропотно; но детей... его детей!.. привыкших к исполнению своих малейших желаний, она не могла лишить никакого удобства. Филипп был уже рассудителен и скромен, так как по-видимому нельзя было бы ожидать от него, судя по его прежнему легкомыслию и своенравию. Но Сидней... кто же мог требовать рассудительности от ребенка, который не понимал, что значит перемена обстоятельств и не знал цены деньгам? Начнет он, бывало, скучать: Катерина украдкой пойдет со двора и воротится с узлом игрушек, на которые истратит доход целой недели; побледнеет он немножко, пожалуется за малейшее нездоровье, она тотчас шлет за доктором. А собственная её болезнь, пренебреженная и оставленная без внимания, между-тем переросла предел врачебного искусства. Горе, заботы, страх, тягостные воспоминания и опасение за будущее, в котором грозил голод, быстро изнуряли ее. У неё не доставало силы на то, чтобы работать или служить, если б она даже и хотела. И кто дал бы работы, кто принял бы в службу опозоренную и всеми оставленную женщину? Известно, как люди строги к грехам других, когда имеют возможность хорошо скрыть своя собственные.

Ответ мистера Рожера Мортонна на просьбу Катерины, был следующего содержания:

*«Любезная Катерина!*

*Я получил твое письмо от четырнадцатого числа и отвечаю с первой почтой. Меня очень опечалило известие о твоём несчастии, но что ты ни говори, а я не могу считать покойного сэра Филиппа Бофора добросовестным человеком, когда он забыл сделать завещание и оставил своих детей без помощи и пристанища. Все, что ты толкуешь о намерениях, которые он имел, очень хорошо, но вкус каравая узнаешь только когда его*

*отведаешь. У меня у самого семейство, дети, которых я кормлю честными трудами: мне трудно будет содержать детей богатого джентльмена. Что же касается до твоей истории тайного брака, то она может-быть достоверна, а может-быть и нет. Вероятно, этот господин обманул тебя, потому что венчание это не могло быть действительное. И так как ты говоришь, что закон уже решил этот вопрос, то чем меньше будешь говорить об нем, тем лучше. Всё-равно, люди не обязаны верить тому, чего нельзя доказать. Если б даже и правда была, что ты говоришь, то всё-таки ты заслуживаешь более порицания нежели сострадания: зачем ты столько лет молчала и наносила стыд всему нашему семейству? Я уверен, что моя жена этого не сделала бы, ни даже ради самого богатого и красивого джентльмена в целом свете. Впрочем, я не хочу оскорблять твоего чувства и, право, готов сделать все, что можно и прилично. Ты, конечно, не можешь ожидать, чтобы я пригласил тебя в свой дом. Моя жена, ты знаешь, женищина очень набожная и ни за что этого не потерпит. Притом это повредило бы и мне, то есть, моему кредиту: здесь в городе есть некоторые пожилые девицы, из порядочных семейств, которые забирают у меня много фланели, для бедных, и которые очень щекотливы насчет подобных вещей. В нашем городе вообще очень строго наблюдают за нравственностью и сборы на церковь бывают часто очень большие... Не то чтобы я сетовал на это, нет: я, правда, очень либерален, но должен уважать местные обычаи, особенно потому, что декан – один из главных моих покупателей. Посылаю тебе десять фунтов стерлингов. Когда истратишь их, напиши ко мне, и я посмотрю, что можно будет сделать. Ты пишешь, – что ты очень бедна. Жаль мне тебя, но ты должна ободриться и поправиться сама как-нибудь. Возьмись хоть за шитье. И, право, я советую тебе обратиться к сэру Роберту Бофору, он, верно, согласится дать тебе в год фунтов сорок или пятьдесят, если ты попросить его как должно и прилично в твоих обстоятельствах. Что-же касается до твоих детей... бедные сироты!.. прискорбно думать, что они наказаны не за свою вину. Моя жена, хотя строгая, однако ж добрая женищина. Она согласится с моими намерениями. Ты пишешь, что старшему шестнадцать лет и что он имеет довольно хорошие познания. Я могу доставить ему очень хорошее место. Брат моей жены, мистер Христофор Плаксвит, книгопродавец-издатель в Р\*\*\*, издает газету и так любезен, что присылает мне ее еженедельно. Хотя эта газета не нашего графства, однако ж в ней попадаете иногда очень благоразумные мнения, и даже лондонские газеты очень часто цитируют из неё. Мистер Плаксвит должен мне небольшую сумму, которую я одолжил ему, когда он начал издавать свою газету. Он уже несколько раз вместо уплаты предлагал мне долю в газете, но я не люблю ввязываться в дела, которых не понимаю, а потому не воспользовался предложением. Нынче же мистер Плаксвит писал мне, что имеет надобность в мальчике и вызывался взять в ученье моего старшего сына, но мне он будет нужен. Я пишу к Плаксвиту с этою же почтой, и если твой сын поедет туда... на империале не дорого стоит... я не сомневаюсь, он тотчас же будет принят. Вместо платы за ученье, мистер Плаксвит зачитет долг и тебе ненужно будет платить. Это дело конченное. А меньшего твоего мальчика я возьму к себе и, когда подрастет, приучу к торговле. Он будет у меня наравне с моими ребятами. Мистрисс Мортон будет заботиться об его опрятности и доброй нравственности.*

*Я полагаю... это мистрисс Мортон поручает мне написать... я полагаю, что оспа и корь у него уже были; прошу однако ж уведомить об этом. Ну, вот и этот пристроен. Теперь у тебя будет двумя животами меньше и тебе останется забота только о самой себе, что, я полагаю, не мало облегчит и утешит тебя. Не забудь написать к сэру Роберту Бофору, а если он нашего не сделает для тебя, то, значит, он не такой джентльмен, каким я считал его. Но ты мне родная сестра и с-голоду не помрешь. Хотя я не считаю приличным деловому человеку поощрять неблагопристойные поступки, однако ж все-таки держусь мнения, что если на кого пришла невзгода, так лучше подать золотник помощи, чем фунт увещаний. Моя жена паче рассуждает: ей очень хочется прочесть тебе рацею. Но не всем же быть такими строгими. Уведомь меня, когда твой мальчишка придет, да и об оспе и кори тоже, и о том, улажено ли дело с мистером Плаксвитом. В надежде, что ты теперь утешена, остаюсь верным и любящим тебя братом. Рожер Мортон».*

*P. S. Мистрисс Мортон говорит, что она заступит твоему ребенку место матери и просит, чтобы ты до отсылки к нам вычнила его белье.*

Прочитав это послание, Катерина обратила взор на Филиппа. Он тихо стоял в стороне и наблюдал лицо матери, которое во время чтения горело от стыда и скорби. Филипп был теперь уже не тот хорошенький, щегольски одетый барич, каким мы видели его в первый раз. Он вырос из изношенного траурного платья; длинные волосы беспорядочно упали на бледные, впалые щеки; черные блестящие глаза получили мрачное выражение. Никогда бедность не обнаруживается резче, чем в чертах и в осанке гордого молодого человека. Очевидно было, что Филипп больше терпит свое состояние, нежели покоряется ему: несмотря на запятнанную и протертую одежду, он в обращении своем сохранил строптивую величавость и повелительный тон со всеми, кроме матери, которую берег и лелеял с редкою нежностью и предусмотрительностью.

– Ну, что, маменька? что пишет твой брат? спросив он с странною смесью мрачности во взоре и нежности в голосе.

– Ты прежде решал за нас, решай и теперь. Но я знаю, ты никогда...

– Погоди: дай мне самому прочесть.

Катерина была от природы женщина умная и сильная духом, но болезнь и горе удручили ее, и она обращалась за советом к Филиппу, хотя ему был еще только семнадцатый год. В природе женщины, – особенно в пору беспокойства и страха, – есть что-то такое, что заставляет ее искать защиты и покоряться другой воле, чьей бы то ни было. Катерина отдала Филиппу письмо, а сама тихо села подле Сиднея.

– Намерения твоего брата хороши, сказал Филипп, прочитав письмо.

– Да; но что в том пользы? Я не могу... нет, нет! я не могу расстаться с Сиднеем, вскричала Катерина, и заплакала.

– Нет, милая маменька! Это в самом деле было бы ужасно. Но книгопродавец... Плаксвит... Может-быть, я буду в состоянии содержать вас обоих.

– Ах! неужто ты думаешь идти служить мальчиком в книжной лавке, Филипп? Ты, с твоими привычками, с твоим воспитанием? Ты? такой гордый?

– Маменька! для тебя я готов улицы мести! Для тебя я пойду к дяде Бофору, со шляпою в руке, просить подаяния. Я не горд, маменька. Я хотел бы быть честным, если можно. Но когда я вижу твои страдания, твои слезы, тогда... злой дух овладевает мной... я часто содрогаюсь; я готов совершить преступление... какое, сам не знаю.

– Филипп! мой милый Филипп, подойди сюда... сын мой, моя надежда! не говори таких страшных речей: ты пугаешь меня!

И сердце матеря залилось всей нежностью прежних счастливых дней. Она обвала руками шею сына и, утешая, целовала его. Он приложил пылающую голову к её груди и крепко прижался, по привычке, как бывало во время бурных пароксизмов неукротимых и своенравных страстей своего детства. В этом положении они пробыли несколько минут. Уста их безмолвствовали; говорили только сердца, одно от другого воинствуя подкрепление и силу. Наконец Филипп поднялся с спокойною улыбкой.

– Прощай, маменька! я тотчас отправлюсь к Плаксвиту.

– Но у тебя нет денег на поездку. Возьми, вот.

Она подала ему кошелек, из которого Филипп неохотно взял несколько шиллингов.

Под-вечер он был на назначенном месте. Мистер Христофор Плаксвит был приземистый и одутловатый мужчина, в темно-коричневых брюках со стиблетами, в черном сюртуке и в таком же жилете, на котором красовалась длинная толстая часовая цепочка с огромною связкой печатей, ключей и старомодных траурных колец; лицо у него было бледное и, так сказать, губчатое; темные волосы подстрижены под гребенку. Книгопродавец-издатель был чрезвычайно занят тем, что походил несколько на Наполеона и старался подделаться под решительный, отрывистый тон и повелительные манеры, которые казались ему главными чертами характера его прототипа.

– Так вы тот сам и молодой человек, которого рекомендовал мне мистер Рожер Мортон? сказал мистер Плаксвит, вытаращив на Филиппа глаза, с явным намерением усилить их проницательность. Между-тем он вытащил из кармана свой бумажник и перебирал в нем бумаги.

– Вот, кажется, его письмо, продолжал он... нет; это сэр Томас Чемпердоун просит прислать пятьдесят экземпляров газеты, в которой напечатана его последняя речь в собрания депутатов вашего графства... Сколько вам лет... шестнадцать, говорят?... На вид вы гораздо старше... И это не оно... и это нет... а, вот оно!.. Садитесь. Да; мистер Рожер Мортон рекомендует вас... родственник... несчастные обстоятельства хорошо воспитан... гм! Ну, молодой человек, что вы можете сказать в вашу пользу?... Вы умеете вести счета? знаете бухгалтерию?

– Я несколько знаю алгебру, сэр.

– Алгебру? а-га! Ну, что еще?

– Знаю французский и латинский языки.

– Гм!.. может пригодиться. Зачем у вас волоса такие длинные? Посмотрите, какие у меня... Как вас зовут?

– Филипп Мортон.

– Мистер Филипп Мортон, у вас очень умное лицо. Я знаток в физиономиях. Вам известны условия?... Очень выгодные для вас... Без платы за ученье... Это я с Рожером покончу. Я вам даю стол и постель... Белье ваше собственное. Порядочное поведение... Срок ученья – пять лет. Срок минет, вы можете завестись сами, только не здесь. Когда вы можете прийти совсем? Чем скорее, тем лучше. Я во всем люблю поступать скоро и решительно. Это мой характер... Вы читали биографию Наполеона? Видели его портрет?... Вот, взгляните на этот бюст, что стоит так, на шкафу. Посмотрите хорошенько! Не находите ли вы какого-нибудь сходства?... а?

– Сходства, сэр? я не видал самого Наполеона, и потому не могу судить о сходстве его бюста.

– Я знаю, что вы не видали. Нет, нет! оглянитесь здесь, в комнате. Кого напоминает вам этот бюст? Кто на него похож?

Тут мистер Плаксвит стал в позицию, заложил руку за жилет и устремил задумчивый взор на чайный стол.

– Теперь представьте себе, продолжал он: что мы на острове Святой Елены; этот стол – океан. Ну, теперь, на кого походит этот бюст, мистер Мортон?

– Кажется, на вас, сэр.

– А! вот то-то и есть! Это всякому в глаза бросается. А узнаете меня покорооче, так найдете столько-же сходств нравственных... Прямо... отчетлив... смел... скор... решителен!.. Так после завтра вы приедете совсем, мистер Филипп?

– Да, я готов. Жалованье вы назначите мне? Хоть сколько-нибудь, чтобы я мог посылать матери.

– Жалованье? в шестнадцать лет? сверх квартиры и стола? за что? Ученики никогда не получают жалованья. Вы будете пользоваться всеми удобствами...

– Дайте мне меньше удобств, чтобы я мог больше доставить матери. Назначьте мне немножко деньгами... сколько-нибудь... и вычтите со стола... Мне не много нужно: я сыт одним обедом.

– Гм!

Мастер Плаквит взял из жилетного кармана большую щепотку табаку, понюхал, щелкнул пальцами, заложил руку по-наполеоновски и задумался. Потом устремив опять глаза на Филиппа, продолжал:

– Хорошо, молодой человек; вот мы что сделаем. Вы придите ко мне на испытание: мы увидим, как поладим. На это время я буду давать вам по пяти шиллингов в неделю, а потом уже условимся окончательно. Довольны ли вы?

– Покорно вас благодарю.

Через несколько минут Филипп уже возвращался в Лондон на империале омнибуса.

– Какой теплый вечер! сказал подл него пассажир, пустив ему прямо в глаза целый столб табачного дыму.

– Да, очень теплый. Сделайте одолжение, курите в лицо другому вашему соседу, отвечал Филипп отрывисто.

– А-га! возразил пассажир с громким смехом: вы еще не любите табаку? Но погодите, полюбите, когда проживете с мое, отведаете заботы и нужды. Трубка!.. о, это великая и благодетельная утешительница! Честным дыханием своим она разгоняет дьяволов. От неё зреет мозг, раскрывается сердце. Человек, который курит, мыслит как мудрец и поступает как Самаритянин.

Пробужденный от своей думы этою неожиданною декламацией, Филипп быстро оборотился к своему соседу и увидел дюжего, широкоплечего, рослого мужчину, в синем сюртуке, застегнутом доверху, и в соломенной шляпе, надетой набекрень, что придавало несколько беспечный вид красивому, мужественному лицу, которое, несмотря на улыбку, носило на себе печать твердого и решительного характера. В светлых, пронизательных глазах, в густых бровях, в резких линиях на лбу и в быстрой подвижности всех мускулов лица, выражались кипучия страсти и вместе сила, способная обуздывать их, энергия и острый ум. Филипп долго и внимательно смотрел на соседа; сосед отвечал тем же.

– Что вы обо мне думаете, сэр? спросил пассажир, снова раскуривая трубку.

– В вас есть что-то странное.

– Странное? Да, это замечают многие. Вы не так легко разгадаете меня, как я вас. Сказать ли вам характер и вашу судьбу? Вы джентльмен или что-нибудь в этом роде: это я слышу по тону ваших речей. Вы бедны, чертовски бедны: это я вижу по дыре на вашем рукаве. Вы горды, пылки, недовольны и несчастны: все это я вижу по вашему лицу. Я заговорил с вами именно затем, что заметил это. Я добровольно никогда не ищу знакомства с счастливыми.

– И не удивительно: если вы знаете всех несчастных, то у вас уже должно быть огромное знакомство! заметил Филипп.

– Вы остры не по летам! А чем вы занимаетесь?

- Покуда ничем, покраснев отвечал Филипп с легким вздохом.
- Гм!.. жаль. Я и сам теперь без дела. Ищу. Советую и вам поискать.

Курильщик замолчал и занялся своей трубкой. Филипп тоже не был расположен говорить. Он погрузился в раздумье о своем положении, о настоящем и будущем, а омнибус между тем катился по пыльной дороге. Однообразный стук колес и качка воздушного сиденья ублажали утомленного юношу. Он склонял голову на грудь, потом, инстинктивно, ища какой-нибудь опоры, сначала слегка прислонился, потом совсем повалился на плечо своего дюжего соседа. Тот выпустил трубку изо-рта и, оттолкнув его, закричал с нетерпением:

– Эй! барин! я ведь не для того заплатил свои деньги за место, чтоб служить вам подушкой.

Филипп вскочил и непременно упал бы вниз на дорогу, если б сосед не схватил его рукою, которая могла бы порядочный дуб остановить в падении.

- Проснитесь! Вы могли бы расшибиться.

Филипп в полусне пробормотал что-то невнятное и обратил черные свои глаза на соседа с таким невольным, но печальным и глубоким упреком, что тот был тронут и почувствовал как-бы стыд. Прежде нежели он успел сказать что-нибудь в извинение своей суровости, Филипп опять уснул, прислонясь уже к стоявшему позади его сундуку. Опасная была опора: при малейшем ухабе на дороге, он мог бы свалиться вместе с сундуком.

– Бедной мальчик! Как он бледен! бормотал сосед, выколотив и положив в карман трубку: может-быть, дым для него был слишком крепок... он, кажется, слаб и хвор.

И он взял его за длинные, тонкие пальцы.

– Щеки его впали... может-быть от недостатка пищи. Фу! как я сглуповал!.. Тише, кучер! не болтай так громко, черт тебя возьми!.. Он, право, упадет, прибавил незнакомец, обхватив мальчика поперек и уложив его голову у себя на груди: бедный! он улыбается... может-быть видит во сне бабочек, за которыми бегал в детстве. Эти дни не воротятся... никогда... никогда! Какой холодный ветер подул!.. Он может простудиться.

Незнакомец расстегнул сюртук и с нежною заботливостью женщины укрыл спящего своими полами, предоставив собственную обнаженную грудь влиянию сурового ветру. Так безродный сирота, забыв настоящее, в сонных видениях уносился, быть-может, в иной, лучший мир и на мгновение наслаждался счастьем, между-тем как изголовьем ему служила грудь, тревожимая дикою, страшною борьбой с жизнью и грехом.

Филипп пробудился от своего счастливого сна при мерцании фонарей, при стуке повозок и фур, среди толкотни, крику, дымкой, суетливой жизни и нестройного шуму лондонских улиц. Он смутно припоминал, оглядывался и увидел чужие глаза, устремленные на него с заботливостью и лаской.

- Вы хорошо спали? спросил пассажир с улыбкой.

– И вы позволили мне так утрудить вас? сказал Филипп с такою благодарностью в тоне и во взоре, какой не показывал отроду, быть-может, никому кроме своих родителей.

- Вы, верно, не много видели ласк, когда так высоко цените это?

- Нет, некогда все люди были со мною ласковы и добры. Но тогда я не умел ценить этого.

Тут омнибус со стуком въехал под темный свод ворот постоянного двора.

– Берегите свое здоровье: оно, кажется, плохо, сказал незнакомец, впотьмах положив суверен в руку Филиппа.

– Благодарю вас от всего сердца, но... мне не нужно денег. В мои лета стыдно принимать милостыни. Но если б вы могли доставить мне какое-нибудь место, я принял бы с радостью. То, которое мне предлагают, очень невыгодно, бедно. У меня, дома, мать и малолетний брат... Я об них должен заботиться.

– Место? Да, я знаю место, да только вам надобно будет обратиться не ко мне, чтобы получить его. Мы, вероятно, уже не увидимся. Примите то, которое вам предлагают, как оно ни плохо. Остерегайтесь вреда и стыда. Прощайте.

С этими словами незнакомец сошел с империала и, указав кучеру, куда отнести чемодан, пошел навстречу трем порядочно одетым мужчинам, которые дружески пожали ему руку и приветствовали его, казалось, с радостью.

– У него по крайней мере есть друзья! тихо проговорил Филипп со вздохом, и пошел домой по темной и пустой улице.

Через неделю началось его испытание у мистера Плаксвита. Болезнь Катерины в это время до-того усилилась, что она решилась посоветоваться с доктором, чтобы сколько возможно определеннее узнать свою судьбу. Ответ оракула сначала был двусмыслен, но когда Катерина с твердостью сказала, что имеет обязанности и что от откровенного ответа его будут зависеть распоряжения её насчет сирот, что бы они не остались без хлеба и пристанища, когда она умрет, доктор пристально взглянул ей в лицо, прочел на нем спокойную решимость и отвечал откровенно:

– Так не теряйте времени, мистрисс: распорядитесь. Жизнь вообще не верна, а ваша в особенности. Вы, может-быть, проживете еще долго, но организм из расстроен, Я опасаюсь, что у вас водяная в груди. Полноте, мистрисс... я не возьму платы. Завтра я опять побываю у вас.

Докторе обратился к Сиднею.

– А мой сын, доктор? заботливо спросила мать совсем забывая себе самой произнесенный приговор: он так бледен!

– Вовсе нет, сударыня. Видите какой он молодец! сказал доктор, потрепав Сиднея по плечу, и вышел.

– Бедное, бедное дитя мое! шептала мать: я теперь уже не смею думать о себе.

Она отерла слезу и задумалась. Видя близкую смерть перед глазами, могла ли она решаться отвергнуть предложение брата? Предложение, которым по крайней мере обеспечивалось сироте пристанище? Если она умрет, не расторгается ли связь между дядей и племянником? Приимет ли тогда Рожер бедного мальчика так же ласково, как теперь, когда она сама может попросит за него, когда она своими руками передаст ему дорогой залог любви? Она обдумала и решилась, и в этой решимости сосредоточилась вся сила самопожертвования материнской любви. Она решилась отдать своего последнего сына, всю свою радость, все свое утешение; она хотела умереть одна... одна!

\* \* \*

Было то время года, когда на лице Лондона играет самая приятная улыбка; когда давки и магазины разукрашены всеми предметами роскоши и наполнены суетливыми покупателями; когда весь город живет поспешнее и все в нем движется быстрее; когда улицы наполнены скачущими экипажами и пестрыми толпами праздных искателей развлечения; когда высший класс расточает, средний, приобретает; когда бальная зала становится торжищем красоты, а клуб – школой злословия; когда игорные «ады» разевают свои пасти алкая новых жертв, и краснобаи и скоморохи, как мухи, кружатся, жужжат и отъедаются около кожи благосклонной публики. Стереотипною фразой говоря, был «лондонский сезон». Погода была ясная, жаркая. Четверо щегольски одетых молодых людей, верхами, весело болтая и смеясь, ехали в предместье, о котором мы уже упоминали. Один из этих молодых людей был Артур Бофор.

– Чудо, что за конь! говорил сэр Гарри Денверс, любуясь на лошадь Артура.

– Да, возразил тот, мой конюший знаток, и много видывал, а говорит, что он никогда еще не сиживал на таком лихом коне. Он уже выиграл несколько призов. Он принадлежал какому-

то купцу, который страстно любил охоту и скачку, да теперь промотался. Меня подзадорило объявление. Дорого дал, но не раскаиваюсь.

– Чудесная погода для прогулки!.. А куда мы отправимся потом?

– Разумеется, ко мне обедать! возразил Артур.

– А потом сыграем по маленькой, прибавил мастер Марсден, красивый брюнет, который недавно приехал из Оксфорда, но уже приобрел известность на скачках и храбро подвизался на зеленых полях.

– Пожалуй, отвечал Артур, и заставил своего дорогого коня делать курбеты.

Молодые люди, все рядом, пустились малым галопом и, продолжая болтать, не заметили, что через улицу шел полуслепой слабый старик, который палкой ощупывал дорогу и, слышав конский топот, вдруг оторопел и остановился. Почувствовав, по лошадь за что-то за дела и услышав крик, мистер Марсден оглянулся вниз.

– Черт бы побрал этих стариков! везде они мешают! вскричал он с досадой и поехал дальше.

Но другие, которые были помоложе и, полируясь в свете, не совсем еще окаменели, остановились. Артур соскочил с коня и поспешил поднять старика. Тот, хотя не опасно, однако ж до крови расшиб лоб и жаловался на боль в боку.

– Обопритесь на меня; я сведу вас домой. Где вы живете?

– Вот тут... несколько шагов... Будь со мною собака моя, этого не случилось бы... Оставьте, сэр... Ничего. Бедный старик... Ах, нет моей собаки!

– Я догоню вас, поезжайте, сказал Артур своим приятелям: я только провожу бедного старика домой и пошлю за доктором.

– Не нужно, сэр, не нужно... дойду и сам... благодарю... не нужно, твердил старик.

Но Артур видел, что он едва держится на ногах и, не обращая внимания на отказ, взял его под руку и повел в указанный дон, а слугу послал за доктором. Товарищи Артура бросили старика по золотой монет и поехали к мистеру Марсдену, который в отдалении также остановился и с нетерпением поджидал их. Артур, несмотря на воркотню угрюмого старика, дождался доктора и, удостоверившись, что нет никакой опасности, передал его попечениям старой домоправительницы, которой вручил несколько денег; потом вышел вместе с эскулапом. На пороге их встретила запыхавшаяся служанка.

– Мистер Перкинс! поскорее, пожалуйста!.. Бедная дама, что живет у нас... мистрисс Мортон... очень трудна... просит вас.

– Иду, иду, сейчас.

– Мистрисс Мортон? какая это мистрисс Мортон? поспешно спросил Артур, схватив доктора за руку.

– Отчаянно больная, при смерти.

– Есть у неё дети? сыновья?

– Есть, двое. Оба по бедности отданы к чужим людям. Она очень скучает по ним. Оттого и болезнь неизлечима.

– Боже мой! это должно быть она!.. больная... умирающая... может-быть, оставленная! вскричал Артур с неподдельным чувством; доктор, я пойду с вами. Я, кажется, знаю эту даму... может-быть я даже её родственник.

– Вы? Очень рад. Пойдемте.

\* \* \*

Катерина сама ездила к брату и, не без страданий, не без слез, сдала с рук на руки своего милого Сиднея. В минуту разлуки она почти на коленях вымаливала у Рожера позволения остаться там же, в городе: она желала хоть только дышать одним воздухом с сыном,



желала видеть его хоть изредка, издали. Но мистер Рожер Мортон не смел согласиться на это, чтобы не восстановить против себя своей добродетельной супруги, её кумушек, и щекотливых покупательниц фланели. Мистрисс Мортон не согласилась даже видеться с Катериной. При одной мысли о том, что будет, если Катерина останется у них в городе, мистер Рожер уже видел себя в конец разоренным и погубленным. Катерина принуждена была отправиться назад в Лондон. Легко себе представить, что эта разлука и беспокойство, душевная тревога и тряска в дороге, сильно ускорили успех её болезни. Когда бедная мать оглянулась кругом в уединенном, мертвенно-тихом, безотрадном жилище, в котором уже не было её Сиднея, ей показалось, что теперь переломилась последняя тростинка, на которую она опиралась и что земное поприще её совершенно. Она не была еще обречена на крайнюю нищету, на ту нищету, что скрежещет и гложет собственные руки, на нищету, что в рубищах издыхает с-голоду: у неё еще оставалась почти половина той небольшой суммы, которую выручила от продажи колец и ожерелий. Кроме-того, брат на расставанье дал ей двадцать фунтов и обещал каждые полгода посылать по стольку же. Таким образом она могла доставать себе необходимые жизненные потребности. Но у неё родилась новая страсть, – скупость! Она каждую истраченную копейку считала отнятою у детей, для которых копила и прятала сколько могла. Ей казалось, что не стоит труда поддерживать мерцание почти погасшей уже лампы, которая всё-таки скоро будет сломана и брошена в большую кладовую смерти. Она охотно наняла бы себе квартиру еще поменьше и похуже, но служанка в том доме так любила Сиднея, была всегда так ласкова к нему... Мать не могла расстаться с знакомым лицом, на котором воображала видеть отражение своего дитяти, и потому она переселилась в самый верхний этаж: там было подешевле. Со два на день века её тяжелели под туманом последнего сна. Добрый доктор постоянно навещал ее и никогда не принимал платы. Заметив, что конец несчастной близок, он желал доставить ей свидание хоть с одним из сыновей, чтобы облегчить страдания последних минут, и, узнав адрес, написал к Филиппу за день до приключения, которое свело его с Артуром.

Вошедши в комнату больной, Артур почувствовал на душе своей всю тяжесть раскаяния, которое, по праву, следовало понести его отцу. Какой контраст представляла эта мрачная, бедно меблированная и неудобная комната с великолепным жилищем, в котором он в последний раз видел мать детей Филиппа Бофора, в цвете здоровья и надежд! Артур стоял молча, в отдалении, пока доктор делал своя распоряжения. Когда тот кончил и вышел, он подошел к постели. Катерина была очень слаба, жестоко страдала физически, и лежала в полузабытии. Она обратила мерцающий взгляд на молодого человека и не узнавала его.

– Вы не помните меня? спросил он голосом, заглушенным слезами: я – Артур, Артур Бофор.

Катерина не отвечала.

– Боже мой! в каком положении я нахожу вас! Я полагал, что вы у своих друзей, с своими детьми... обеспечены, как должно, как обязан был обеспечить вас мой отец. Он уверял меня, что сделал все, что было можно.

Ответа не было.

Тут молодой человек, от природы великодушный и сострадательный, совершенно увлеченный своими чувствованиями, забыл про слабость Катерины и с жаром осыпал ее вопросами, себя и своего отца упреками, жалобами. На все это Катерина сначала мало обращала внимания, но частые повторения имен её детей затронули струну, которая в сердце женщины сохраняет еще чувствительность и тогда, когда все другие уже давно порваны. Она приподнялась на постели и пристально посмотрела на гостя.

– Ваш отец не похож на моего Филиппа, сказала она тихо: может-быть, вы добрее вашего отца, но мне уже не нужно ни чьей помощи... Но дети мои... дети мои!.. Завтра у них уже не будет матери. Закон на вашей стороне, но справедливости нет. Вы будете богаты и сильны. Будете ли вы другом моим детям?

– Во всю жизнь мою! Клянусь Богом! вскричал Артур, упал на колени перед постелью больной.

Не нужно рассказывать, что еще происходило между ними: это были прерывчатые повторения той же просьбы и того же ответа. В голосе и в лице Артура было столько истинного чувства, что Катерине казалось, будто ангел-утешитель посетил ее. Поздно вечером доктор опять пришел навестить больную. Она, приклонив голову на грудь молодого друга, с светлой, счастливою улыбкой смотрела ему в глаза.

\* \* \*

Филипп жил на новом месте уже шестую неделю, с истечением которой кончался срок его испытанию. Он с мрачною, непобедимою тоской исполнял обязанности нового своего звания, но никогда не обнаруживал этого отвращения и не роптал. Он, казалось, навсегда оставил неукротимое своенравие и властолюбивый характер, отличавшие его в детстве, но зато почти вовсе ничего не говорил и никогда не улыбался. Казалось, вместе с недостатками оставила его и душа: он делал все, что приказывали, с спокойною, равнодушною правильностью машины. По вечерам, когда запирались лавки, он, вместо того, чтобы присоединиться к семейному кругу хозяина в жилых покоях, выходил за город и возвращался уже тогда, когда все спали. От матери он еженедельно получал вести и только в то утро, когда ожидал письма, становился беспокойным. При входе почтальона он бледнел; руки его дрожали. По прочтении письма он опять успокаивался, потому что мать с намерением тщательно скрывала от него настоящее состояние своего здоровья. Она писала ему утешительно и весело, просила его сохранять твердость и спокойствие, и радовалась, что он не ропщет. Письма бедного молодого человека были не менее притворны.

Мистер Плаксит вообще был доволен трудолюбием и исправностью своего нового ученика, но досадовал на его угрюмость. Мистрисс Плаксит, женщина, впрочем, вовсе не злая, просто ненавидела «молчаливого цыгана», – как прозвал его мистер Плимминг, бухгалтер и помощник книгопродавца-издателя; она ненавидела его за то, что он никогда не принимал участия в семейных забавах, не играл с её детьми, ни разу не сказал ей ничего любезного, не ласкал её котенка, и вообще не прибавлял ровно ничего к удовольствиям и приятному проведению времени в её доме. Она полагала, что угрюмый Филипп должен быть очень злой, негодный человек, и часто, нечаянно встречаясь с ним, даже содрогалась как при виде разбойника.

Однажды Филипп был послан за несколько миль, к какому-то ученому джентльмену, с новыми книгами, и воротился уже под-вечер. Мистер и мистрисс Плаксит были в лавке, когда он вошел. Они только-что рассуждали об нем.

– Я его терпеть не могу! кричала мистрисс Плаксит: если ты примешь его совсем, я одного часу не проживу спокойно. Я уверена, что ученик, который на прошедшей неделе, в Четеми, перерезал горло своему мастеру, как две капли воды похож на этого цыгана!

– Ба! вздор! возразил мистер Плаксит, запуская два пальца в жилетный карман, за табаком: я в молодости тоже был молчалив. Все мыслящие люди таковы. Вспомни только Наполеона: он был точно таков же. Но, что правда, то правда; мне самому Филипп не нравится, несмотря на его расторопность и исправность.

– А как он жаден к деньгам! заметила мистрисс Плаксит: вообрази! не хотел купить себе сапоги, а ходил уже почти без подметок. Срам! И если б ты посмотрел какой взгляд он бросил на мистера Плимминга, когда тот стал подшучивать над его скупостью... ужас! Я чуть не упала в обморок.

Разговор этот был прерван приходом Филиппа.

– Вот письмо к вам, Филипп, сказал мистер Плаксит: вы мне потом отдадите за почтальона.

Филипп поспешно схватил письмо и затрепетал. Почерк был чужой. Дыхание его спиралось, когда он ломал печать. Письмо было от доктора. Мать его трудно была больна... умирала... быть-может не имела самых необходимых пособий. беспокойство и страх Филиппа превратились в отчаяние. Он пронзительно вскрикнул и бросился к Плакситу.

– Сэр, сэр! мать моя умирает!.. Она бедна... бедна!.. она умирает может-быть с-голоду!.. Денег! денег!.. одолжите мне денег!.. Десять фунтов... – пять! Я целую жизнь проработаю даром, только дайте мне теперь денег.

– Штуки, штуки! сказала мистрисс Плаксит, толкая мужа локтем: я говорила, что это так будет. А погоди еще, в другой раз просто за горло схватит... Смотри и теперь, нет ли у него ножа!

Филипп не слышал или не расслышал этой речи. Он стоял прямо перед своим хозяином, сложив опущенные руки, и дикое нетерпение горело в его глазах. Мистер Плаксит оторопел.

– Слышите ли вы? человек ли вы? кричал Филипп, и душевная тревога вдруг обнаружила всю пылкость его характера: я вам говорю, что мать моя умирает... я должен ехать к ней. Неужто мне ехать с пустыми руками? Дайте мне денег!

Мистер Плаксит был человек не жестокосердый, но раздражительный и сверх того любил формальности. Его рассердил тон, который позволял себе ученик с хозяином, и притом в присутствии жены. Такой пример казался Наполеону-книгопродавцу очень опасным, хотя он давно уже блаженствовал под женниным каблуком.

– Молодой человек, вы забываетесь! сказал Плаксит приосанившись.

– Забываюсь? Но, сэр, если мать моя нуждается в самом необходимом... если она умирает с-голоду?

– Пустяки! Мистер Мортон пишет мне, что он заботится о вашей матери. Не так ли, Ганна?

– Де, конечно. Что вы так таращите глаза на меня? Я этого не люблю, я этого терпеть не могу. Слышите? кровь моя стынет, когда я смотрю на вас.

– Одолжите мне только пять фунтов, мистер Плаксит: только пять фунтов!

– Ни пяти шиллингов! В таком тоне говорить со мной!.. Разве я ваш слуга, что ли? Извольте запереть лавку и лечь спать. Завтра, если библиотека сэра Томаса будет в порядке, я вас отпущу. А сегодня нельзя. Может-быть еще, что все это вздор, ложь. Не так ли, Ганна?

– Разумеется. Посоветуйся с мистером Плиммингом. Пойдем, пойдем, мой друг. Видишь каким он зверем смотрит.

Мистрисс Плаксит почти убежала. Супруг, заложив руки на спину и закинув голову, намеревался последовать за ней. Филипп, который последние минуты стоял бледный, недвижимый как мраморная статуя, вдруг оборотился и, в отчаянии, больше с бешенством чем мольбой, схватил своего хозяина за плечо и вскричал:

– Я оставляю вас... не заставляйте же меня оставить вас с проклятием! Умоляю вас, умилосердитесь!

Мистер Плаксит остановился. Если б Филипп хоть не много поскромнее попросил, все могло бы кончиться хорошо. Но с детства привыкший повелевать, ослепленный отчаянием, презирая того, кого умолял, он не мог обуздать своих страстей и сам испортил свое дело. Взбешенный молчанием Плаксита и не догадываясь, что самое это молчание могло уже быть добрым знаком, Филипп вдруг так начал трясти маленького человека, что тот чуть не свалился с ног.

– Вы!.. вы на пять лет покупаете мои кости и мою кровь... душу и тело... вы за свою жалкую плату на пять лет делаете меня своим рабом, и отказываете моей матери в куске хлеба перед смертью!

Дрожа от гнева, а может-быть и от страху, мистер Плаксит вырвался из рук Филиппа, выбежал из лавки и захлопнул за собою дверь.

– Нынче же вечером извольте просить извинения в этих дерзостях, кричал он за дверью: не то я завтра утром просто прогоню вас! Гром и молния! вот новая мода обращаться с хозяевами! Я не верю ни одному вашему слову о матери. Все пустяки, вздор!

Оставшись один, Филипп несколько минут боролся со своим гневом и отчаянием, потом схватил шляпу, надел и повернулся к двери. Тут взор его упал на вырубку. Она была не заперта и блеск денег, эта убийственная улыбка дьявола искусителя, остановила его. Память, разум, совесть, – все в эту минуту смешалось у него. Он робко окинул взглядом темную лавку... запустил руку в ящик... схватил, сам не знал что, серебро или золото, – что сверху было, – и громко, страшно захохотал. Филипп сам испугался этого хохоту: он казался ему чьим-то чужим. Несчастный побледнел как мертвец; ноги подкосились, волосы поднялись дыбом: ему представилось, будто дьявол неистово вопиет от радости над новою падшей душой.

– Нет... нет... шептал он, задыхаясь: нет, маменька... ни даже для тебя я не сделаю этого!

Он бросил деньги на пол и как безумный выбежал из дому.

В тот же вечер, поздно, сэр Роберт Бофор воротился с дачи домой и нашел жену в большом беспокойстве о сыне, который с утра уехал и не возвращался. Артур прислал домой слугу с лошадьми и с запиской, торопливо написанною карандашом на вырванном из бумажника листке.

«Не ждите меня к обеду, писал он: я, может-быть, весь вечер не буду дома. Мне встретилось печальное приключение. Вы одобрите мои поступки, когда увидимся».

Эта записка изумила сэра Роберта. Но он был голоден и потому мало обращал внимания на опасения и догадки жены, покуда не удовлетворил ближайшей потребности. Потом он призвал жокея и узнал, что Артур, после приключения со стариком, пошел с доктором в дом какого-то чулочника, в предместьи. Это казалось довольно странным и таинственным. Час за часом проходил; Артур не возвращался, и сэр Роберт Бофор мало-помалу сам заразился беспокойством. Ровно в полночь он приказал заложить карету и, взяв жокея в проводники, поехал по его указанию. Экипаж был легок и удобен, лошади рьяные. Быстро, но спокойно катился богач. Он хоть бы сколько-нибудь предчувствовал настоящую причину отсутствия Артура: он передумал много о разных сетях лондонских плутов, о хитрых женщинах в стесненных обстоятельствах; он полагал, что «приключение» тут значит любовь, а «печальное» – деньги. Артур же был молод, великодушен, и сердце и карман его – открыты для обмана. Такие случаи, однако ж не столько пугают отца, особенно если он человек светский, сколько мнительную и боязливую мать. Сэр Роберт больше с любопытством, нежели с беспокойством приехал к назначенному дому.

Несмотря на позднюю пору, дверь была не заперта. Это показалось сэру Роберту подозрительным. Он осторожно вошел. Свеча, поставленная на стуле, в узком коридоре, бросала тусклый свет на лестницу, на повороте теряющуюся в густом мраке за углом стены. Роберт Бофор в нерешимости остановился и не знал, идти ли ему вперед или назад, постучать или кликнуть. Тут на верху лестницы послышались шаги и скоро он, к великой радости своей, узнал сына. Артур, однако ж, по-видимому не замечал отца и хотел пройти мимо. Тот остановил его.

– Что все это значит? где ты? Если б ты знал, как встревожил нас!

Артур взглянул на отца с печальным упреком.

– Батюшка! сказал он важным, почти повелительным тоном: пойдете, я вам покажу, где я был, пойдете!

Он повернулся и пошел опять на лестницу. Роберт Бофор, изумленный, машинально последовал за ним. Во втором этаже еще одна забытая свеча, с нагоревшей светильней, проливали тусклый свет сквозь отворенную дверь небольшой комнаты, в которой Бофор мимоходом заметил двух женщин. Одна из них, добрая служанка, сидела на стуле и горько плакала; другая,

наемная сиделка, в первый и последний день службы, снимала с шеи грязный платок и готовилась «прикурнуть». Она обратила к проходящим свое пустое, равнодушное лицо, сделала прискорбную мину и заперла дверь.

– Говори же, Артур, где мы? повторил сэр Роберт.

Артур взял отца за руку, повел его в комнату направо; взял свечу, поставил на столике подле постели и сказал:

– Здесь, батюшка... в присутствии смерти.

Роберт Бофор бросил беглый, робкий взгляд на бледное, осунувшееся, но спокойное лицо мертвой, и узнал черты оставленной, пренебреженной, некогда столько любимой, обожаемой Катерины.

– Да! она... та, которую брат ваш столько любил... мать его детей... она умерла в этой грязной комнате, в разлуке с сыновьями, в горе... умерла от разбитого сердца! Справедливо ли это, батюшка? Вам не в чем раскаиваться?

С ужасом, с страшными угрызениями совести светский человек упал на стул подле постели и закрыл лицо руками.

– Да! продолжал Артур с горечью: да! Мы, его ближайшие родственники... мы, получив его богатства, остались равнодушными к самому дорогому для него существу, к жене, которую он так любил, и к детям его, к детям, которые теперь выброшены в свет опозоренные и нищие, без имени и без хлеба! Да, батюшка, плачьте, плачьте, и перед не забудьте поправить своей ошибки. Я поклялся покойнице быть другом её детей. Вы можете, и должны помочь мне сдержать эту клятву... поклянитесь тоже, и Бог да не покарает нас за те страдания, которые перенесены на этом ложе!

– Я не знал... я... я...

– Но вы должны были знать, перебил Артур с прискорбием: ах, батюшка, не ожесточайте своего сердца лживыми извинениями. Покойница и теперь еще говорит с вами, вручает детей своих вашему попечению. Мое дело здесь кончено; ваше начинается. Не забудьте этого часу!

С этими словами молодой человек поворотился и поспешно вышел. Когда взор его упал на богатый экипаж и ливреи отца, он застонал: эти свидетельства богатства и великолепия казались ему насмешкою над умершей. Артур отворотился и пошел далее, не заметив пробежавшего в эту минуту мимо его человека, бледного, растрепанного, задыхавшегося, который бросился прямо в ту дверь, из которой он вышел. С мрачною думой в голове, со скорбью в сердце, один, пешком, в такую позднюю пору, в пустынном предместьи, богатый наследник Бофора отыскивал своего великолепного дома. Со страхом и надеждой, в беспамятстве, бежал бесприютный сирота к смертному одру своей матери.

Роберт Бофор, оглушенный новостью своего положения, сначала не заметил, что остался один. Понтон, ужаснувшись мгновенно наставшей тишины, он содрогнулся, и взглянул еще раз на безмолвное и безмятежное лицо покойницы. Он оглянулся в мрачной комнате, ища Артура, кликнул его по имени... Ответу не было. Суеверный страх овладел честным человеком; он затрепетал, опять опустился на стул, опять закрыл лицо и, – быть-может, в первый раз после поры детства, – шептал несвязные слова раскаяния и молитвы. От этого углубления в самого себя он был пробужден тяжким стоном. Голос, казалось, раздавался от постели. Не обманывал ли его слух? или мертвая в самом деле стонет? Роберт в ужасе вскочил и увидел прямо против себя бледное, худое лицо Филиппа Мортонна, на котором цвет юности и свежести заменили ужасная сила и дикое, выражение преждевременных страстей, бешенства, скорби, ненависти и отчаяния. Ужасно видеть на лице юноши ту бурю, которой бы следовало посещать только сердце твердого и зрелого мужчины.

– Она умерла!.. умерла на ваших глазах? вскричал Филипп, дико устремив глаза на встревоженного дядю: она умерла с горя, быть-может, с-голоду... и вы пришли полюбоваться на свое достойное дело?

– Право, отвечал Бофор умоляющим голосом: право, я сейчас только пришел; я не знал, что она больна, что она нуждается... клянусь честью! Все это... все это недоразумение; я... я... я пришел... я искал здесь не её...

– А! так вы не затем пришли, чтобы подать ей помощь? сказал Филипп спокойно: вы не слыхали об её страданиях и нужде, и не спешили сюда, в надежде, что еще не поздно, чтобы спасти ее? Вы этого не сделали? Да как же я мог и ожидать этого от вас?

– Вы изволили кликать, сударь? спросил плаксивый голос, и служанка просунула голову в полуотворенную дверь.

– Да, да, вы можете войти! сказал Бофор, трепеща от страху.

Но Филипп подбежал к двери и взглянув на служанку, сказал:

– Она чужая! посмотрите, она чужая! и она плачет. Ступай, ступай: здесь сын уже занял свое место подле матери, прибавил он выводя ее и запирая дверь на задвижку.

Он подошел опять к постели, взглянул на мертвое лицо матери, залился слезами, упал на колени, поднял её тяжелую руку и осыпал горячими поцелуями.

– Маменька, маменька! не оставляй меня! пробудись! улыбнись хоть еще раз твоему сыну! Я мог бы принести тебе и денег, но тогда не мог бы уже просить твоего благословения... а теперь прошу, благослови меня!

– Если бы я знал... если бы вы только написали... но мои предложения были отвергнуты, и...

– Предложения? такие предложения, как делают наемнице... Ей! ей, для кого отец мой отдал бы всю кровь из своего сердца... жене моего отца вы делали предложения?... какие?

Он встал, скрестил руки на груди и с дикою решимостью подступив к Бофору сказал:

– Послушайте! вы захватили богатство, которое я от колыбели привык считать своим наследием, я этими руками своими добывал себе насущный хлеб я никогда не жаловался, кроме как в сердце, в душе своей. Я никогда не ненавидел, никогда не проклинал вас... хотя вы и грабитель... да, грабитель! Потому что, хотя бы тут и не было брака, кроме брака перед Богом, то всё-таки ни отец мой, ни законы природы, ни Бог, ни что не давало вам права захватить себе все, попать священные узы любви и крови и отнять у вдовы и сирот все, до последнего куска хлеба! Хотя бы церковь и не давала своего благословения, однако ж Филипп Бофор тем не менее мой отец. А вы, грабитель вдов и сирот, презирающий человеческую любовь! хотя закон и защищает вас, хотя люди и называют вас честным, однако ж вы тем не менее разбойник! Но я и за то еще не ненавидел вас. Теперь же, перед лицом моей мертвой матери, умершей в разлуке с детьми, теперь я проклиная вас! Вы можете спокойно оставить эту комнату, можете не опасаться моей ненависти и мести, но не обольщайтесь этим! Проклятие ограбленной вдовы и притесненных сирот, повсюду последует за вами! ляжет на вас и на всех ваших... оно всоется в ваше сердце и будет глотать его среди всей вашей роскоши... оно прильнет и к наследию вашего сына! Придет час, вы увидите еще одну смертную постель и подле, грозную тень той, которая теперь покоится здесь так мирно, а там будет требовать возмездия! Проклятие! проклятие тебе! И этих слов ты никогда не позабудешь!.. Пройдут годы, а эти слова всё будут звучат в ушах твоих и будут леденить мозг в костях твоих! Ступай теперь, брат отца моего! ступай прочь от праха моей матери! ступай в свой пышный дом!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.